Глава I

Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и Бог знает как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцова, француза и еще какого-то англичанина: как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед, по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу *к свите генерала*. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все

богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и наконец совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил:

— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали...

— Да ведь у меня и денег нет, — отвечал я спокойно; — чтобы проиграться, нужно их иметь.

— Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро,

справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

— Как же мы сосчитаемся, — заговорил он, — надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, — остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы... Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег и уж, конечно, имею на то некоторое право...

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади! Mademoiselle Blanche в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для mademoiselle Blanche.

Mademoiselle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «monsieur le comte»[1], мать mademoiselle Blanche называется «madame

[1] господин граф (*франц.*).

la comtesse»[1]; что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse.

Я так и знал, что monsieur le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а monsieur le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица — то, что они называют *outchitel*. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошеным; кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hôt'ом. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец — в Швейцарии; в течение этих двух недель — два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости, и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в

[1] госпожа графиня (*франц.*).

Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

— Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся.

— Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, — сказал французик небрежно и презрительно.

— Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора.

— Плюнуть? — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

— Точно так-с, — отвечал я. — Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подож-

дать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale»[1] и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсиньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, — какой-то австриец, его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсиньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсиньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсиньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсиньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то же время, когда у него сидит кардинал!» — закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

---

[1] «Народное мнение» (*франц.*).

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis hêrêtique et barbare», и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и проч., и проч. — всё равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Чрез минуту он был уже визирован. Вот-с, не угодно ли посмотреть? — Я вынул паспорт и показал римскую визу.

— Вы это, однако же, — начал было генерал...

— Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, — заметил, усмехаясь, французик. — «Cela n'était pas si bête»[1].

— Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь — пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере в Париже в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил — единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

---

[1] Это было не так глупо (*франц.*).

— Этого быть не может, — вскипел французик, — французский солдат не станет стрелять в ребенка!

— Между тем это было, — отвечал я. — Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере две тысячи гульденов или даже более.

— Мне во что бы ни стало нужны деньги, —

сказала она, — и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.

— Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, — прибавила Полина, — а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

— Итак, здесь все в ожидании? — спросил я.

— Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

— И вы надеетесь? — спросил я.

— Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

— Мне кажется, вам очень много достанется, — сказал я утвердительно.

— Да, она меня любила; но почему *вам* это кажется?

— Скажите, — отвечал я вопросом, — наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

— А вы сами к чему об этом интересуетесь? — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

— Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

— Вы очень верно угадываете.

— Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал

про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: «*la baboulinka*». Какие короткие и какие дружественные отношения!

— Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

— Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

— Вы отлично хорошо знаете, что нет! — с сердцем сказала Полина. — Где вы встретили этого англичанина? — прибавила она после минутного молчания.

— Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите.

Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

— Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

— Да, он влюблен в меня, — отвечала Полина.

— И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

— Не подвержено. У него есть какой-то château. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

— Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина.

— Почему? — спросила Полина.

— Француз красивее, но он подлее; а англича-

нин, сверх того, что честен, еще в десять раз богаче, — отрезал я.

— Да; но зато француз — маркиз и умнее, — ответила она наиспокойнейшим образом.

— Да верно ли? — продолжал я по-прежнему.

— Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостию своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал.

— Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

— Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, — отвечал я спокойно, — именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

— Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, — именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны — мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со

мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

— Позвольте вас спросить, что такое mademoiselle Blanche? — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

— Вы сами знаете, что такое mademoiselle Blanche. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Mademoiselle Blanche, наверно, будет генеральшей, — разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и mademoiselle Blanche, и ее матушка, и троюродный cousin маркиз — все очень хорошо знают, что мы разорились.

— А генерал влюблен окончательно?

— Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это

было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Всё это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека...

Однако ж у меня было ее поручение — выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо вы-